

Сокровенные вопросы

Елена Тахо-Годи*

*Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры истории русской литературы

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, заведующая отделом Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».

«Мы – только всплески на общем море бытия»

О мотивах «Небесной Родины», «жертвы» и «мирового древа» в рассказе Алексея Лосева «Жизнь»¹

В статье анализируется поэтика рассказа «Жизнь», написанного великим русским мыслителем А.Ф. Лосевым (1893–1988) в начале 1940-х гг., когда Лосев был лишен возможности напрямую заниматься философией и богословием. Имманентный подход к тексту позволяет вычленить выработанную автором оригинальную религиозно-философскую систему, ключевыми понятиями которой являются «Небесная Родина», «Жертва» и «мировое древо Жизни». Религиозно осмысленная философия жизни становится фундаментом, смыслопорождающим началом художественного текста.

Ключевые слова: А.Ф. Лосев, художественная проза, литература, философия, «Небесная Родина», «Жертва», «Жизнь», смысл человеческой жизни.

The article analyzes the poetics of the story “Life” written by the great Russian thinker A. F. Losev (1893-1988) in the early 1940s, when Losev was deprived of the opportunity to engage directly in philosophy and theology. The immanent approach to the text makes it possible to isolate the original religious and philosophical system worked out by the author, the key concepts of which are “Heavenly Motherland”, “Sacrifice” and “world tree of Life”. Religiously meaningful philosophy of life becomes the basis, the beginning generating sense of the literary text.

Key words: A. F. Losev, fiction, literature, philosophy, “Heavenly Motherland”, “Sacrifice”, “Life”, the meaning of human life.

Творческое наследие философа и филолога-классика А.Ф. Лосева включает в себя не только научные труды, но и целый пласт литературных произведений – повестей и рассказов², создававшихся, в основном в 30–40-е гг. – в лагере на строительстве Беломорско-Балтийского канала и вскоре после освобождения, когда Лосев оказался лишен возможности заниматься философией. Эти произведения, писавшиеся в стол, стали доступны читателям лишь в последнее десятилетие. Исследование лосевской прозы только начинается. Обратимся к одному из лосевских рассказов – к рассказу «Жизнь», созданному в начале 40-х гг.³

Как явствует уже из названия, рассказ посвящен решению такой важной литературно-философской проблемы как *суть и смысл человеческой жизни*. Рассказ имеет четкую и симметрически выверенную структуру. Первая и четвертая части представляют собой отдельные сцены из жизни героя. В первой части изображается детство героя, его столкновение с соседским злым мальчиком Мишкой, поиски смысла жизни в школьные

¹ Исследование выполнено в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01432).

² См.: Тахо-Годи Е.А. Художественный мир прозы А.Ф. Лосева. – М., 2007.

³ Рассказ писался и на оборотных листах объявлений Московского Авиационного Института о начале работы подготовительных курсов с 15 апреля 1942 г, причем в некоторых объявлениях от руки приписано «Окончание занятий 15/VII-42 г.», что свидетельствует о времени создания – не ранее лета 1942 г.

годы и в юности, разговоры с учителем, хождение в народ, споры с приятелем юности Юркой. В четвертой части – все увиденное и услышанное героем в первые дни после начала Великой Отечественной войны. В отличие от первой и четвертой частей, центральные части – вторая и третья – главным образом, размышления и рассуждения героя. Такая структура позволяет говорить о своеобразной кольцевой композиции рассказа, где реальность становится, с одной стороны, отправным пунктом для размышлений героя, а с другой, – последним ответом на волнующие его вопросы. В то же время то, что рассказ завершается именно зарисовкой из реальной жизни, а не философским размышлением-итогом предает всему повествованию открытый финал.

При этом каждой из частей соответствует и определенный ритмический рисунок, когда размышления героя, его внутренний монолог передается с использованием риторических приемов, развернутых сложноподчиненных предложений, а диалогам соответствуют краткие предложения, обрывочные реплики. Пожалуй, единственное исключение – диалог героя с Юркой. Отличие это может быть объяснено тем значением, которое придается встрече героя с Юркой – именно эта встреча помогает ему в итоге найти ответы на волнующие вопросы о смысле жизни.

Недаром встреча с Юркой происходит в пути – на «узловой станции» (с.512)⁴ железной дороги – это действительно *узловая* встреча на жизненном пути героя. Она дает ему «выход из того мучительного тупика» (с. 549), в котором он пребывал, «мучаясь загадкой судьбы» (с.549). Другая встреча на железной дороге – встреча героя-рассказчика с молодой беженкой – уже станет для него иллюстрацией-подтверждением нового понимания жизни: найденное им в результате долгих исканий это *новое понимание смысла жизни и смерти человека осознается простой женщиной естественно, интуитивно, как само собой разумеющееся*. Эти две встречи в пути, на железной дороге замыкают еще одно звено в кольцевой композиции рассказа и подчеркивают его главную мысль – то, что *жизнь сама по себе является самым реальным и лучшим учителем, что, только живя, можно пройти подлинную «школу жизни» и понять ее главный урок*.

Тема пути не менее важна в лосевском рассказе. Во-первых, потому, что для героя-рассказчика жизнь исторична (с.527), а значит, она есть и путь, и развитие. Во-вторых, потому, что, как он считает, жизнь «есть восхождение к знанию» (с.526), подлинная жизнь есть путь, который идет «от жизни и знания» (с.526) к постижению высшего, общего и вечного. Этот путь, требующий «*выйти из жизни*» (с.526) есть пути человека *от реального к реальному, к Небесной Родине, к тому «родному и всеобщему, что его породило» и что «со смертью – принимает его в свое лоно»* (с.550). Без понимания этого человек остается в тупике неразрешенных жизненных противоречий.

Для Лосева смысл каждой отдельной человеческой жизни становится очевиден лишь после смерти человека. Эту позицию подкрепляет и выбор жанра, символически подчеркивающего направленность взгляда назад, – воспоминание. Мысленно герой-рассказчик уже «провидит», какова будет его смерть: «я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный» (с.544). С этой почти отстраненной позиции герой уже может отгадать смысл своего бытия. И тем не менее в лосевском рассказе тема смерти явно отодвигается на второй план – недаром в рассказе охватывается судьба не одного героя, она совмещается с судьбами других людей, тем самым подтверждая главную мысль о бессмертии личности, приобщенной к общей жизни рода, к жизни Родины.

Рассказ начинается с общего – «Люди часто с любовью вспоминают свое детство» (с.504) – с множественного числа третьего лица. Но эта обобщенно-отстраненная тональность тут же исчезает, повествование конкретизируется рассказом о соседском мальчишке Мишке, мучающем маленьких щенят. Причем зло, как оказывается, сосуществует с «несбыточным раем» (с.504) в одной пространственной плоскости. Таким образом, уже в

⁴ Лосев А.Ф. «Я сослан в XX век...». Т. 1–2. – М., 2002. Далее в тексте в скобках указаны страницы по 1 тому этого издания (курсив всюду наш).

первом эпизоде первой части рассказа заложена главная антитеза: общего и реального, «счастливого, ласкового, мягкого, безоблачного» (с.504) и злого, безжалостного.

В дальнейшем в рассказе выстроится целый ряд таких антитез, когда положительному полюсу (закон, совесть, человеческое, осмысленное, святое, радость, улыбка, солнце, тепло, ласка, дружба, удача, достаток, детство, покой) будет противопоставлен отрицательный («звериное царство» и «первобытное варварство» (с.509): мрак, зверство, истерика, убийства, жестокость, терзания, варварство, инстинкт, дикость, война).

Если безоблачное детство героя, окруженного заботой и лаской матери, было отравлено проклятым Мишкой, то в конце рассказа та же тема получает развитие в ином плане: детство маленького мальчика, сына беженки, омрачено другим злом – войной. Если раньше зло олицетворялось в облике Мишки, то теперь зло вторгается в жизнь ребенка и его матери в облике фашистской армии (недаром эпитет «проклятый» в рассказе связан только с Мишкой и с «тевтонской ордой» напавшего на Родину врага).

Такое построение не только подчеркивает вновь кольцевую форму рассказа, но и призвано показать, что зло, модифицируясь, продолжает действовать вокруг героя. В окружающем героя мире царит оксюморонно сформулированное правило – «естественность зверства». Вот почему герой мечтает «установить какую-то другую естественность» (с. 510), т. е. ту, что в «Диалектике мифа» Лосев называл «мифологической целесообразностью». И до тех пор, пока герой не понимает, в чем заключается эта «другая естественность», в чем подлинный смысл и значение человеческой жизни, он не может найти покой.

Кольцевое построение рассказа подчеркивает и мотив боя. Детский бой героя-рассказчика с Мишкой, открывающий все повествование, получает свое развитие в финале, в теме войны за родное отечество, за «невинных людей» (с.552). В то же время реальный бой – лишь проекция другого боя, другой войны – духовной. Уверенность, «что *существует истина и правда, превышая жизни*» (с.551) придает герою силы, лишает страха перед Мишкой и всякой земной властью, дает силы вступить «в смертный бой и с римскими и со всякими иными императорами» (с.551), рушит цитадель отвлеченной науки (с.509) и в противовес ей созидает «твердыню добра», «опору против бессмыслицы», «несокрушимую цитадель» веры, «презрения к смерти»⁵ (с. 551).

Возмущаться отдельным преступлением и бороться с ним мало – «побороть противника не ради себя и не ради своей идеи, и даже не ради только ближнего, а ради самой Родины – вот где подлинное осмысление всякой человеческой борьбы против зла» (с.545). Сопоставление Мишки с римскими императорами, а затем расширение этого образа до образа «всяких иных императоров» (с.551) имеет глубокий религиозный смысл – проклятый Мишка становится символом всякой земной власти, той кесаревои власти, которой, с точки зрения евангельской, и противопоставлена власть Христа. Недаром в конце рассказа, в речи женщины-беженки, призывающей идти всем миром против врага, жаждущего установить свою власть на ее родной земле, воспроизводится проповедь священника, слова которого являются реминисценцией из Евангелия от Иоанна: «...никто же больше сея любви не имеет, да кто душу свою положит за други своя» – «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Примечательно, что в качестве проповеди звучат слова Христа, сказанные Им апостолам на Тайной Вечери, т.е. слова, произнесенные накануне Его земных страданий и смерти, накануне Его добровольного приношения себя в жертву за грехи мира.

Движение от общего к частному и от частного к общему, заложенное в первом же абзаце первого эпизода, становится главным движущим началом в рассказе. Такому

⁵ Вероятно, именно таков – «О презрении к смерти» – был авторский заголовок рассказа (название «Жизнь» дан публикаторами, так как в рукописи заглавие отсутствовало), см.: Лосев А.Ф. О презрении к смерти / Публ. А.А. Тахо-Годи. Подготовка текста и примечания В.П. Троицкого // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». Вып. 19. 2014: Водолей, с. 101, 103.

принципу движения от частного к общему отвечает и постепенное исчезновение индивидуализации собеседников героя – их портретов, биографий, а затем и их имен. Если вначале были Мишка, школьный учитель Иван Петрович, крестьянин Панкратыч, приятель Юрка, то постепенно появляется масса безымянных собеседников, разговоры с которыми иногда передаются в форме прямого диалога, иногда в косвенной форме, а иногда о них лишь упоминается. Герой встречает «практиков, деятелей, активных работников, людей воли и силы, предпринимателей, организаторов» (с.511), он говорит то с инженером, то с интеллигентом, то с интеллигентской, то ему просто возражает безымянный и неопределенный оппонент. Таким образом, герой *беседует с людьми, с миром, с окружающей жизнью*.

Рассказ превращается, с одной стороны, в своего рода хронику развития идеи, а с другой, в исповедь героя-рассказчика, в монолог которого вклиниваются не только его собственные диалоги, чужие речи, но и чужая исповедь. Именно как своего рода исповедь на миру должен рассматриваться и рассказ женщины-беженки о ее споре с мужем, а не только как воспоминание о реально пережитых событиях в первые дни войны.

Дело в том, что понятие Родины связывается для героя с понятием родства, рода. То, что о Боге вспоминают в рассказе лишь люди из простого народа – крестьянин Панкратыч, женщина-беженка – оказывается символичным – герой находит духовные корни именно тут, в простом народе. Символично и то, что героиня рассказа не просто молодая женщина, но женщина-мать. Если мы говорили о параллелизме между детством героя-рассказчика и детством сына беженки, то не менее примечателен другой параллелизм: рассказ начинался с воспоминаний героя-рассказчика о заботах о нем матери и кончается отношением матери-беженки к своим детям. Таким образом, мотив материнства обрамляет все повествование. Но при этом для рассказчика-героя, помимо отдельных реальных людей, *самым родным и осязаемым оказывается то, что представляется большинству абстрактным и далеким от какого-либо родства – сущность, идея*. В разговоре с Юркой он прямо говорит: *«Внутреннее, оно и есть тут все внешнее. Идея, форма, сущность, смысл, все это – хоть пальцем шупай. Вот оно, роднехонькое... Думаешь внешнее. А оно тебе не тут-то было. Кабы внешнее, так взял бы, да и заменил. А вот оказывается, вовсе не внешнее. Сама сущность пальцем тычется, носом нюхается, глазом видится»* (с.517).

Лосев не случайно в рассказе, как и в своих философских трудах 20-х гг., использует прием олицетворения абстрактных понятий: сущности, идеи, знания. Он не только говорит *об идее как о некоем живом и родном существе*, но и о «сердцевине знания», о «пуповине знания» (с.536). В рассказе такой прием призван подчеркнуть идею общности духовного и телесного, связь духа и пола. Для рассказчика весь жизненный процесс, «жизненная борьба, жизненное самопорождение и самопожирание есть тайная любовь к мысли, к знанию, скрытая эротика мудрости» (с.526). Эротике мудрости противостоит «кровавое и мутное сладострастие» жизни (с.542).

Если в человеке *наиболее интимное с точки зрения природы – его пол, то с точки зрения духа – Родина*. Надо любить бескорыстно, идею, общее. Даже физическая любовь «полна безумств самоотдания и самопожертвования» (с.548), т.к. «в любви человек хочет стать как бы богом, порождая из себя и изводя из себя целый мир и зная его изнутри, зная его еще до его создания» (с. 548). Отказ от любви к Родине есть «социальное самоубийство» (с.541). Родине противостоит «темная, злобная и свирепая тюрьма» абстрактного, «головного общего» (с.541), «застенок собственной субъективности» (с.541), «пустота и тюрьма» (с.542). «Бескорыстной любви» противостоят «люди «науки», «культуры», «цивилизации»» (с.548). Законы этого страшного мира – «абстрактные истуканы рассудочной мысли» (с. 541). Этот мир не знает родства, в нем «нет самого главного, нет отца и матери, от которых происходишь» (с.541). Когда человек стремится обособиться от общей жизни, это значит, что «приходит к распадению и разложению жизнь самого рода, разлагается сама жизнь данного типа или в данное время, или в данном месте» (с.543).

Знаменательно, что в финале, в рассказе молодой женщины-беженки эти разные типы любви объединены в одно целое: тут и любовь к своему мужу, и любовь к своим детям, и любовь к своему роду – к своему народу, и к земной Родине и воспоминание о божественной любви Спасителя. Причем этому выражению бескорыстной и жертвенной любви противостоит иная психология и иная «любовь» – рациональная, практическая и не понимающая глубинного смысла жертвенности, знающая земное родство, но забывшая родство Небесное.

Вслушаемся в диалог жены и мужа, который в своем рассказе косвенно передает женщина-беженка: «Я ему говорю: Коля, и я с тобой умру. А он мне: дура, говорит, детей спасай; мне через полчаса выступать. <...> Умру, говорю, с тобой. А он мне: дура, говорит, ты ничего не смыслишь; нельзя тут тебе быть. А я ему: жизнь свою хочу отдать, понял? А он мне: дура, говорит, езжай к отцу. А я ему: поп в церкви говорил, что никто же больше сея любви не имеет, да кто душу свою положит за други своя. А он мне: и поп твой такой же дурак; уходи, говорит, не смей оставаться. А я ему: что же, Коля, и жизни моей ты не хочешь! А он мне: жизнь для детей береги! А я ему: а дети-то мне на что, если немцу под сапог пойдем? А он мне: дура, говорит, дети вырастут, а ты их губишь, а я ему: все погибнем, а народ останется. А он мне: а что тебе народ, коли сама подохнешь? А я ему: жизнь хочу отдать. А он мне: дура, говорит. Я ему: жизнь мою возьми. А он мне: дура, говорит...» (с.554).

Внешний параллелизм, подчеркнутый синтаксическим параллелизмом, анафорами («А он мне», «А я ему»), призваны оттенить внутренний антагонизм позиций. Вера, любовь и жертва кажутся бессмысленным и глупым для тех, кто, как муж беженки, мудр, по словам апостола Павла, «мудростью мира сего». Именно поэтому, по мнению Коли, его жена «дура», ничего не смыслит в жизни так же, как и священник, проповедующий любовь. И хотя сам он идет на смерть, но идет не по личной воли, не из высшей любви, а по приказу, хоть и честно выполняя свой долг, но выполняя его не как свободный и распоряжающийся своей жизнью человек, а как раб не только государства, но и слепой и жестокой судьбы. Диалог между ними это диалог между тем, кто «безумен Христа ради» (1 Кор, 4:10) и тем, кто безумен перед Богом, «ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом» (1 Кор, 3:19). При этом позиция молодой женщины-беженки явно выражает и позицию самого автора.

Когда герой называет Родину – «бесклассовым обществом» (с.546), автор использует прием, ставший ему привычным в условиях советского строя и господства марксистско-ленинской идеологии. Современная советская фразеология становится словесным материалом для определения религиозного понятия, в данном случае «бессмертия души». «Бессмертие души» (с.550) и Царство Божие – вот то «бесклассовое общество», о котором мечтает герой-рассказчик, причем автор сталкивает советскую фразеологию, советское обращение типа «товарищ» с религиозной лексикой, с евангельскими реминисценциями.

Иронизируя над своим собеседником, которому недоступна подобная трактовка «бесклассового общества», герой-рассказчик парирует его возражения евангельскими словами: «Блажен, кто видел и уверовал; но трижды блажен тот, кто не видел и все же уверовал» (с. 546) [ср. слова воскресшего Христа, обращенные к апостолу Фоме: «...ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин, 20:29)]. Услышав в ответ, что для его собеседника-инженера – это «слишком заумно» (с.546), герой иронически отвечает ему: «Вы так говорите потому, что бесклассовое общество действительно не есть для вас нечто родное. <...> Вы не хотите знать, что человеку гораздо естественнее не убивать, не мучить, не насильничать, что это-то и есть его самое естественное состояние, что это-то и есть его первозданная природа, что это-то и есть *его вожделенная Родина*, его мать, его, наконец, бессознательное требование при всяком недобром событии в жизни. <...> Это – не философия, а это то, ради чего мы страдаем и за что боремся. Кто вместе с нами страдает и борется, тот и составляет нашу Родину» (с.546–547).

Если в начале рассказа речь шла преимущественно от первого лица единственного числа, т.е. от «я», то к финалу третьей части это «я», хотя и не исчезает, но плавно сливается с множественным числом первого лица «мы» – с «мы» тех, кто умеет любить Родину. Множественное число появляется потому, что герой чувствует себя одним из сыновей Родины-Матери и ассоциирует себя со всеми ее детьми: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны; мы знаем многие и томительные годы борьбы, недостатка, страданий. <...> Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, больного, много немощного, неустроенного, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем – как родные себе. И миллионы жизней готовы отдаться за тебя, хотя бы ты была и в рубищах» (с.549). «Вопиющей бессмыслице» и «трагедии сплошных рождений и смертей» противостоят «лики родного и всеобщего»: «Сквозь трагедию сплошных рождений и смертей светится нечто родное и узорное, нечто детское, да и действительно детское, даже младенческое, то, ради чего стоит умирать и что осмысливает всякую смерть, которая иначе есть вопиющая бессмыслица» (с. 549). Только родное и всеобщее дают человеку возможность ощутить радость и покой даже в самой смерти: «У кого есть Родина, тот, умирая если не за нее, то хотя бы – только в ней, на ней, умирает всегда уютно, как бы ребенок, засыпая в мягкой и теплой постельке, – хотя бы эта смерть была бы и в бою...» (с.551). Приобщенность к общему дает человеку бессмертие, и поэтому тот, «кто любит свое родное, тот не умрет, тот будет вечно в нем жить и вместе с ним жить. И этой радости, этой великой радости достаточно для того, чтобы быть спокойным перед смертью и не убиваться над потерями в жизни» (с.551).

Именно любовь к «родному и всеобщему», другими словами – вера в Бога – дает человеку силы не только не воспринимать «смерть как ужас, как трагедию, как бессмыслицу» (с.550), но и вполне по-евангельски всегда радоваться – радоваться всему: «жизненному труду, борьбе, страданиям», а значит, и преодолеть трагедию жизни как таковую – в этом «интимнейшее самоутверждение самого же отдельного человека» и «победа над трагедией общечеловеческой жизни» (с. 550), ибо «...все родное – уютно, и только уют есть преодоление судьбы и смерти» (с.551). Подлинное знание, подлинная мудрость – это знание своей истинной Родины и смысла всякой жертвенности во имя ее. Это знание и дает герою радость, дает ему покой, дает ему возможность без истерики сознавать, «что весь мир во зле, что вся жизнь есть катастрофа» (с.523). Он знает, что эта катастрофа преодолевается самой жизнью, если эта жизнь жертвенна, если она имеет своей целью служение Родине.

В то же время жизнь для героя лосевского рассказа – это «роскошное древо бесконечных и, допустим, часто весьма интересных и прихотливых организмов» (с.525). Отсюда частое использование образов дерева, корней, семени, листьев и т.д.: «...знание и мудрость, которые были бы выше и организма и механизма и которые бы показывали их происхождение на одном и том же древе бытия» (с.525); жизнь есть «корень и семя мудрости, но не есть еще сама мудрость» (с. 526); «В жизни, в морали, в красоте заложены семена мудрости жизни, но развиты в них односторонне» (с.535); наше познание – «лишь отдельные цветы, листики, стволы, отдельные травинки на невместимом лугу общемировой жизни; и все это уходит в почву, в темные недра, питается в корнях своих бесформенным, скрытым от взора, неясным и мглистым» (с.536).

Герой приходит к выводу, что «нет осмысления и для каждой отдельной жизни, если она не водружена на лоне общего, если она не уходит корнями в это родное для нее общее...» (с.549). В сущности, все человечество – от отдельного человека, семьи, рода и образует некое древо жизни, восходящее к небесной Родине. По Лосеву, для внутреннего «я» «тоже есть свой род и свои родственные отношения <...> вытекающие из факта совместного происхождения на одной и той же почве, из одних и тех же корней, на одном и том же родительском лоне» (с.540), из которого растет то древо мудрости, о котором в притчах Соломона говорится как о «древо жизни для тех, которые приобретают ее» (Притч., 3;18). В то же время образ дерева, возможно, навеян словами Христа из той же 15 главы Евангелия от Иоанна, цитата из которого стала текстом проповеди священника в лосевском

рассказе. Именно в этой главе Иисус, сравнивая Бога с виноградарем, а Себя с «истинной виноградной лозой», говорит апостолам: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин, 15:5). Таким образом, древо бытия, древо жизни – это не только древо мудрости, древо познания, но и древо истинной веры – Христос.

Причем для героя-рассказчика это древо, растущее на «невместимом лугу общемировой жизни», оказывается одновременно и омываемым волнами «единого и всемирного потока» жизненной стихии: «...не мы и живем, но *живет в нас общая мировая жизнь*. Мы – только *всплески на общем море бытия, только струи единого и всемирного потока, только волны неизмеримого океана вселенной*» (с.536). Таким образом, в рассказе намечается антитеза «жизни-болота, невылазной лужи» (с.508) и *жизни-моря*.

В первой части рассказа герой погружен полностью в стихию жизни и тогда эта стихия кажется ему не чем иным как болотом: «Жизнь – это болото, невылазная лужа. Не во всяком же болоте мне тонуть» (с.508). Но затем он понимает, что такое ощущение свойственно тем, кто решил «окунуться в жизнь с головой» (с.549) и не увидел ничего сверх жизни. Только с высоты вечного и общего герою становится ясно, что жизнь не болото, а «*неизмеримый океан вселенной*» и что любое зло, в том числе и «проклятый Мишка», оказывается «только одной ничтожной набежавшей волной на море жизни» (с.542).

В то же время в приведенной цитате об «океане вселенной» требуют особого внимания следующие слова: «*Мы – только всплески на общем море бытия*». И эта фраза, и встречающееся в лосевском рассказе словосочетание «родное и всеобщее» – явная аллюзия на творчество Вяч. Иванова. Во-первых, перед нами несколько измененное название ивановского сборника статей – «Родное и вселенское». В конце жизни в своих воспоминаниях о Вяч. Иванове Лосев скажет по поводу этого названия: «...“Родное и вселенское”. Это для него характерное сочетание, где заключено максимальное космическое, всеохватное и в то же время максимально родное и интимно пережитое. Его художественность заключается в отождествлении родного и вселенского, в этом объединении двух сфер, которые, казалось бы, ничего общего между собой не имеют»⁶. Во-вторых, – почти реминисценцией из стихов Вяч. Иванова «Поэты духа»: «*Мы – всплески рдяной пены // Над бледностью морей*»⁷ (это стихотворение Лосев, кстати сказать, цитировал в тех же воспоминаниях о Вяч. Иванове⁸).

Для лосевского героя смысл отдельной жизни в том, что эта жизнь есть «переходный пункт» (с.545) того «родного и всеобщего», ради чего живет человек и ради чего и имеет смысл жить. Из тысяч жизней возникает тот *плодородный слой почвы*, на котором растет великое древо человеческого бытия: «Гибнет моя жизнь, но растет и крепнет общая жизнь, поднимается и утверждается человеческое спасение; и *страдания, слезы и отчаяние в прошлом залегают как нерушимый фундамент для будущей радости*, а бессмыслица и тьма прожитой жизни отмирают и забываются как тяжелый и уже миновавший сон» (с.545).

И в таком контексте неудивительно, что завершающие рассказы размышления героя-рассказчика оказываются связаны, хоть и не явно, но теснейшим образом с творчеством Вяч. Иванова. Как представляется, в лосевском рассказе есть не только аллюзии на «Родное и вселенское», на «Поэтов духа». Существует внутренняя связь еще с рядом ивановских текстов.

Мотив детства, младенчества заставляет вспомнить о поэме Вяч. Иванова «Младенчество», вышедшей в свет в 1918 г., т.е. как раз в тот год, когда Лосев вместе с Вяч. Ивановым и Сергеем Булгаковым задумывал и пытался издать религиозно-

⁶ Лосев А.Ф. О Вяч. Иванове / Подготовка текста и комментарии Е.А.Тахо-Годи // Вячеслав Иванов: Pro et contra: Антология. Т. 1: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. СПб.: Росток, 2016. С. 669–672.

⁷ Стихи Вяч. Иванова здесь и далее цитируются по: Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. В 2-х тт. Сер. «Новая Библиотека поэта». – СПб., 1995.

⁸ Лосев А.Ф. О Вяч. Иванове. С. 669–672.

философскую серию под названием «Духовная Русь»⁹. Лосевский рассказ не только начинается с воспоминаний героя-рассказчика о собственном детстве и завершается эпизодом из детства сына беженки. С мотивом младенчества связана и тема рода, всеобщего родства, Небесной Родины-Матери, чьими детьми оказываются все жившие и живущие люди. С мотивом младенчества связана в рассказе и *тема смерти*, которая осознается автором как *возвращение в детство, в младенчество, в материнскую утробу, в родное лоно*.

Два примера мы уже цитировали выше – о том, что «сквозь трагедию сплошных рождений и смертей светится нечто родное и узорное, нечто детское, да и действительно детское, даже младенческое» (с.549–550) и что тот, «у кого есть Родина <...> умирает всегда уютно, как бы ребенок, засыпая в мягкой и теплой постельке ...» (с.551). Задача поэмы «Младенчество», как определяет ее сам поэт, не только «жизни длинная минея, // Воспоминаний палимпсест», но своеобразный «аминь всех жизней», в том числе и своей.

При этом, в поэме, как и затем в лосевском рассказе, соответственно ее названию рассказывается лишь младенческая биография лирического героя, а обо всей его дальнейшей жизни умалчивается. К общим мотивам надо отнести и мотив «раннего рая», противопоставление его «земной тюрьме» («Как эхо флейт в притворе гулком // Земной тюрьмы, – не умирай, // Мой детский, первобытный рай!»), а также стремление героя поэмы к разгадыванию тайн реальной жизни («...с детства я в простом ищущем // Разгадки тайной»). Причем финал «Младенчества»: «Пробился ключ; в живой родник // Глядится новый мой двойник» – можно рассматривать не только как узнавание самого себя в своем собственном, но изменившемся взрослом облике, но как узнавание себя в другом, причем, по внутренней логике поэмы, скорее всего в другом ребенке, что вполне соответствует и композиции лосевской «Жизни».

Есть еще один ивановский текст, который имеет смысл напомнить. Мы имеем в виду стихотворение Вяч. Иванова «Дриады» (1904). Ивановское стихотворение называется «Дриады» недаром – речь в нем идет о мифологических персонажах античности, о лесных, древесных нимфах. Но как всегда у Иванова, языческое и христианское в его стихах тесно переплетается, образуя сложный синтез, который, если использовать слова из этого же стихотворения, «И в нераздельности не знает “Ты” ни “Я”».

Вероятность, что «Дриады» могли быть учтены Лосевым, увеличивается, если принять во внимание, что, судя по всему, именно к 1942 г. относится новый период увлечения Лосева ивановской поэзией, что подтверждают дошедшие до нас выписки, сделанные им из сборников Вяч. Иванова¹⁰. Помимо этого, спустя десятилетия это стихотворение Лосев цитирует в одном из томов своей монументальной «Истории античной эстетики», в разделе, посвященном Проклу. Но, в первую очередь, на связь лосевского рассказа с этим ивановским текстом наводят мотивы «корней», «дерева», «потока вечности», а главное, сама тема рассказа – религиозно осмысленное двуединство жизни и смерти, наиболее ярко выраженная в заключительных трех строфах ивановского стихотворения:

Так Древо тайное растет душой одной
Из влажной Вечности глубокой,
Одетое миров всечувственной весной,
Вселенской листвой звездноокой:
Се, Древо Жизни так цветет душой одной.

Восходят силы в нем в мерцающую сень
Из лона Вечности обильной,
И силы встречные струятся в сон и тень

⁹ Тахо-Годи Е.А. Алексей Лосев в эпоху русской революции: 1917–1919. М., 2014.

¹⁰ См. об этом главу «Вячеслав Иванов и А.Ф. Лосев (некоторые факты и материалы)» в кн.: Тахо-Годи Е.А. А.Ф. Лосев: От писем к прозе: От Пушкина до Пастернака. – М., 1999, С. 179–202.

На лоно Вечности могильной,
Где корни звездную распространяют сень.

Глядятся Жизнь и Смерть очами всей огней
В озера Вечности двуликой;
И корни – свет ветвей, и ветви – сон корней,
И все одержит ствол великий, –
Одна душа горит душами всех огней.

В лосевском рассказе аналогично совмещается в единое целое пространство жизни и смерти, земного и потустороннего¹¹. Реальная жизнь, весь видимый мир остается в лосевском рассказе пространством смерти до того момента, пока эта земное бытие через жертву не обнаруживает своей причастности к вечному, которое и есть истинное пространство жизни, пока в земном и реальном не обнаруживаются корни и ветви небесного и духовного.

¹¹ Пространство жизни и смерти не всегда совмещаются в поэзии Вяч. Иванова, как в стихотворении «дриады». См. об этом: Грек А.Г. Пространство жизни и смерти в двух циклах стихов Вячеслава Иванова // Логический анализ языка. Языки пространств. – М., 2000. – С. 391–399.